



Настоящая женская проза — явление редкое. Не «рвать страсти в клочья», а смотреть на мир мудрым и чутким взглядом — все это есть в строках одаренной орловчанки.

## Зарубежные карпы

**М**Ы ГОСТИЛИ в Германии в социалистическую эру, когда человек был кузнец своего счастья, господин судьбы и царь природы.

Шли последние советские времена, горбачёвщина, когда велено открываться навстречу новым веяниям. Все пытались выполнить приказ, а как — не знали. Не умели. Поездками за границу тогда ещё не баловали, но случилось. Нас пригласили друзья, сибирские немцы, выскочившие из Союза пятью годами раньше.

В Киле нас встретили и в Рендсбург привезли крадом, потому что в автомобиле на заднем сиденье ездить вчетвером нельзя. О том, что это не пустая заповедь, там приходится помнить всю жизнь. Любая благонькая старушка за неколышимой шторкой может сообщить «в органы» про перерб пассажира, ведь доносительство не тяжкий грех, а благонравие.

Застолья были умеренные. Споры обо всём на свете, хоть украшались щедрой русской эмоциональностью, не достигали особого накала по причине хозяйской скупости на чувства и водку. Выносить их приветливую сдержанность можно, но трудно. Мы с нашим буйным социалистическим самомнением не понимали, почему немцы смотрят на нас по-матерински сурово.

Дружеские споры — обыкновение русских застолий, привезённое нами в иной уклад и не отвергнутое там из гостеприимства, — случалось,

надоедали, и я, отрезавшись, наблюдал за лицами, жестами, освещением.

Когда прискучило всё, и вовсе вышел на улицу.

Удобный городок. Полное умиротворение. Здания услужливо и покладисто взирали на меня окнами, в которых ничего не рассмотришь. Дороги поворачивали ровно туда, куда хотели пойти ноги.

Дошёл до пруда. Почему люди всегда подходят к воде, где бы её ни увидели? Жена говорит, генная память. Жизнь ведь в океане зародилась. И я подошёл.

Из тёмно-прозрачной воды на меня, как сельские собаки, смотрели дородные серебристые карпы. Они медленно шевелились. Не умея моргать, забавно вздели кверху заинтересованные рожи. Я топнул на них, словно они и есть местные шавки.

Карпы не ворохнулись.

Как так? Я, потомок встоявших в боях, обиделся. Гулче ткнул каблучиной иностранную земель, шик-

нул. Потом ещё замахнулся, сердито воззрившись на толпу прудового народа, дабы заставить их понять моё превосходство, так и не явленное сегодня друзьям в обеденных политических дебатах.

Карпы, не ворохнувшись, смотрели пузырьковыми глазами, мерно перебирая плавниками воду, будто имам чётками. В эту минуту мне совсем некстати пришло в голову, что рыбы не смотрят в одну точку — не могут: глаза разведены природой на бока плосковатых голов.

Вдруг вспомнил поднятую в замахе руку. Воровато озрясь, опустил её в карман. Вторую тоже. Хотелось глубже затиснуть их, потому штаны оттянулись вниз, а плечи поднялись. Я пошёл прочь и будто чувствовал спиной глупое рыбье внимание. Сам по сторонам не глядел — не хотел понять, что кто-то за славной занавесочкой мог видеть победу зарубежных карпов над советской психологией.



# Подруги

**В**СЮ СВОЮ незапамятную жизнь они растут рядом, слившись кронами и так же, наверное, сцепив корни. В юных красавицах с раскосыми оливковыми глазами, растущих по ручью, они теперь грустно узнают себя прежних.

С тех пор несчётные зимы мало-помалу превратили их в рематоидных Баб Яг; а вёсны всё так же наполняли соками их гудящие сосуды.

С высокими, уже полыми стволами, размашисто ветвящиеся, нынешним апрелем они махали птицам новыми листочками. Из огрубелой слоёной коры пробились жёлтенькие побеги, будто нечаянные дети у матерей-перестарков: радостно и конфузливо.

Шальные веи морочили ракитам головы, заставляли взволнованно глядеть на звёзды, вполголоса выскрипывать друг дружке сокровенные тайны, в которых уже не сквозит надежда, но слышна философия прожитых лет.

Ветры однажды стали причиной большого огня.

Каждый апрель всё живое на склоне мучилось от весеннего пала, не чая выжить. И как-то выживали, стерпливали пытку.

Кругом хатёнок, огородцев, на приручейном склоне мужики, пока заботы требовали трезвости, запаливали сухие травы. Это чтоб летом, в беспамятном пьян-

стве, обронив окурочок, не порешить однажды с деревенькой начисто.

Нынешний огонь получился скорым и прожорливым. Ветер рваными напорами выдул из пламени стену, косо двинул её вдоль склона, то взмётывая в два роста, то притушивая не выше колена.

Травы мгновенно выгибались, съёживались и осыпались пеплом. Куст шиповника корчился дольше, пока не стал обугленной раско-



рякой, в которой, как в танталливой скульптуре, явлены глазу все молчаливые страданья живого.

Проглотив давно покинутый сараюшко, огонь подобрался к деревьям.

Трещала в изножье толстая кора, пузырилась и лопалась кожа на нижних первовешних побегах. Деревья крепились, а может, гул огня и ветра заглушил их стоны.

Оранжевый комбайн жара ринулся дале сжинать урожай прошлогодних трав, оставив на стволах вертлявые огневые флажки.

Не вынесла одна из раки, подалась на подругу. Хрипло, последним голосом, как долготерпец, простонала она не то «держи», не то «держись» и грохнула голову на дружеские ветви.

Приняла, удержала вторая раки, мягко спружинив ветвями, словно они не коряжья, а материнские ладони.

Вечером воздух остановился. Пламя потухло. Оглоданный огнедышащей пастью широкий склон, причудливо уставленный кротовыми горушками, кое-где курились тоненькими дымками, словно испускал дух.

Ночь пришла тихая, словно стеклянная. К утру землю прихватил заморозок.

Природа тут же взялась за дело, и к концу мая узеленила, убрала цветами всё, что смогла.

А ракиты стоят. Ветер умильно ерошит молодую поросль на спине наклонённого дерева.

– Держитесь, подружки, – шепчет он в утешение.

И они держутся, живут изо всех сил, тоненько кряхтят.

– Деревца плачут, – жалеет их моя дочь, радуется, что те не погибли, и боится.

Мужички давень шумели, спрашивали, нет ли у кого бензопилы.